

# Среди народа / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 23 января, 2025

Среди народа / рассказ СРЕДИ НАРОДА

По своему обыкновению, майор Александр Степанович Махонин въезжал в занятый населенный пункт вслед за своими штурмовыми группами, когда бывало, уничтожение и рассеяние противника еще не было окончено и бой еще догорал кратким автоматным огнем в истлевших русских избушках или где-нибудь возле уцелевших овинов и малых однодверных бань. Жизнь вот-вот должна сызнова заняться в этих обжитых, еще не остывших крестьянским теплом местах.

Деревню Малую Верею майор занимал уже дважды, но оба раза оставлял ее, потому что немцы направляли по десять и пятнадцать танков и по два полка пехоты против одного его батальона. Александр Степанович не мог понять столь жертвенной борьбы немцев ради удержания незначительного населенного пункта. Местоположение Малой Вереи и ее тактическая ценность в плане обороны противника не давали оправдания для защиты Вереи во что бы то ни стало, для мощных контратак с потерей целых рот от огня нашей артиллерии. Майор Махонин любил вникать в мысль противника, чтобы из сочетания ее с нашим замыслом найти истину боя и овладеть ею ради победы. Но здесь, в сражениях за Малую Верею, он не мог угадать здравого военного расчета неприятеля, глупости же его он из осторожности не хотел допустить. Уже и мощный узел немецкой обороны на грейдерной дороге, что на левом фланге, был оставлен противником, и справа от Вереи наши войска тяжким прессом далеко вдавились вперед дугой по фронту, а немцы не жалели своих войск и машин, чтобы ужиться на этой избяной погорельщине у проселочной дороги. И поэтому наши войска в третий раз штурмовали Малую Верею, и в третий раз майор Махонин въезжал в эту деревню, сотлевшую в прах, но все еще невидимо живую. Здесь Махонин двое суток тому назад беседовал с одним жителем-стариком: жив ли он теперь? Беседа их не была тогда закончена; они

расстались по чужой воле, не удовлетворив своей симпатии друг к другу.

\* \* \*

Старый крестьянин был жив. Он сам вышел на дорогу – опытный житель войны, потому что разглядел, что броневик, в котором ехал Махонин, был русский. Старый человек обождал, пока офицер остановит машину и выйдет из нее, и тогда назвал его по имени.

– Здравствуйте, Александр Степанович! В который раз мы с вами встречаемся, и все без ущерба живем...

– Без ущерба, Семен Ириархович, – сказал майор, – смерть еще заслужить надо, чтоб от нее добро и польза народу была, а так зачем же ущерб терпеть... Здравствуй сызнова, Семен Ириархович!

– Здравствуй, Александр Степанович... Правда твоя – и смерть даром не дается, ее тоже еще надо заслужить, а зря к чему же со света уходить! Правда, правда твоя!.. Да ведь и так можно сказать, Александр Степанович, – ты, конечно, и сам о том чувствуешь, – что ведь надо кому-нибудь и на земле дежурить остаться, чтоб безобразия на ней не было... Без нас-то, глядишь, и непорядок будет. Нам надо тут быть...

– Надо, надо, Семен Ириархович, – говорил майор Махонин.

Они стояли один возле другого, радуясь друг другу, как родня. Крестьянину было лет под семьдесят; он был человек небольшого роста, уже усыхающий от возраста, с клочком бурой бороды под подбородком и с теми небольшими, утонувшими во лбу светлыми глазами, которые наш народ называет мнительными: в его глазах различалась одновременно и слабость неуверенной человеческой души, и сосредоточенное глубокое внимание, доверчиво ожидающее, когда истина осенит его, – и тогда он будет способен на любую страсть, на подвиг и на смерть. Этот старик, как он сам сообщал, еще до войны сумел своим усердием исхлопотать из местной отошальной почвы столь тучный урожай льна и конопли, что его пригласили на выставку в Москву, чтобы показать всему народу этого тщедушного, но хитроумного труженика. Офицер перед ним был высок ростом, угрюм и худ, с тем выражением спокойствия на лице или привычки к печали,

которое бывает у людей, давно живущих на войне. На вид майору можно было дать и пятьдесят лет, и тридцать пять: его могли утомить долгие годы труда, тревоги и ответственности, принимаемой близко к сердцу, и оставить застывшие следы напряжения на его лице, – или то были черты постоянно сдерживаемой крайней впечатлительности, доставляющей усталость человеку. Но в голосе Махонина все еще была слышна молодая добрая сила, располагающая к нему, кто слышал его, и звучало добродушие хорошего характера.

Майор и крестьянин не окончили своего разговора, начатого в прежний раз, тоже после штурма деревни.

– Ну как, теперь-то надолго к нам, Александр Степанович? – спросил крестьянин. – Пора бы уже быть у нас неотступно...

– Теперь навек, Семен Ириархович, – сказал Махонин.

Он пошел со стариком и ординарцем по деревне, по всем ее закуткам, погребам и земляным щелям, чтобы найти там оставшихся жителей, успокоить их и вызвать на свет. Он всегда так делал в наступлении; он чувствовал это удовлетворение своей работой солдата и конечное завершение боя; он чувствовал в тот час особое сознание, похожее на сознание отца и матери, рождающих своих детей; спасенные, худые, утраченные люди, таившиеся в рытой земле, открывали в майоре Махонине глубокую тихую радость, подобную, может быть, материнству: он спас их победным боем от смерти, и это казалось ему столь же важным и трудным, как рождение их в жизнь. «Живите опять, – шептал он, наблюдая жителей, отходящих сердцем от страха: какую-либо кроткую крестящуюся на него старуху или ребенка, уже улыбающегося ему, – живите теперь сначала», – и он брал у ординарца еду из его сумки, которую тот всегда имел на этот случай, и дарил ее тем, кто сам умел кормить всех людей.

Затем Махонин дал поручение ординарцу, а сам пошел проведать Семена Ириарховича.

– Пойдем торопливей, Александр Степанович: там старуха моя кончается, – сказал старик.

– А что с ней такое?

– Да ничего особого: война, Александр Степанович! Это ее

взрывом оглушило, она и задохнулась, в старости дыхание ведь слабое бывает... Я тоже пострадал, да уж оправился...

Семен Иринархович приютился для жизни в дворовой баньке, стоявшей на усадьбе поодаль от деревенского порядка, у самых прясел, за которыми вскоре же начинался лес, бывший теперь без листьев и без ветвей, обглоданный огненными битвами, похожий ныне на частокол мертвых костей, выросших из гробов. Банька была без фундамента, маленькая избушка из бревен, в одно окошко, величиною в детский букварь. По этой причине, что в избушке не было фундамента и стояла она свободно на земле, ее двигали с места на место воздушные ветры от фугасных снарядов; такая участь скособочила ее, и солому из ее крыши всю повыдуло ближними взрывами, а что осталось немного, то раздувалось теперь на ветру редкими прядями, как у простоволосой нищей старухи.

Майор молча вздохнул от вида этой природы в России и вошел за стариком в его убогое малое жилище; там в сумраке лежала на банном полке старая жена крестьянина. Старик тотчас приник к ней и освидетельствовал ее дыхание.

– Где же ты все ходишь, сатана? – прошептала женщина, часто и угнетенно дыша. – Ведь я помираю одна, хоть бы ты помнил обо мне...

– Да ну, вот еще что такое, так ты вот и померла в одночасье: век терпела, а тут враз жить не можешь, как раз когда надо! – говорил Семен Иринархович. – На дворе теперь тихо, война на немцев ушла: чего тебе нужно-то, дыши теперь и подымайся, тебя забота в хозяйстве ждет...

Старуха помолчала; потом она попросила мужа:

– Приподыми меня!.. Ловчей бери-то, аль уж от жены отвык!.. Погляди в печь, – в самую топку-то, – там чугунок с теплыми щами был... Дай-ко я сама встану, неудельный ты мужик!.. Кой сутки не евши живем, – нам хлебать пора, и командира заодно покорми, отощал небось человек, всё бои да бои идут, когда ему кушать!..

Старик живо повеселел, что старуха его опять не умерла и выздоровела. Видно, он любил свою жену по привычке к ней, или то было чувство еще более надежное и верное, чем любовь: тот

тихий покой своего сердца вблизи другого сердца, коих соединяет уже не страсть, не тоскливое увлечение, но общая жизненная участь, и, покорные ей, они смирились и прильнули друг к другу неразлучно навек.

– Вот оно так-то поумней будет! – бодро бормотал старик. – Вставай, вставай, Аграфена Максимовна, теперь время военное – и старуха солдат...

– Да будет тебе, брехун... Вот командир молчит, а ты все языком толчешь. Какой я солдат! Кто солдат-то кормить и обшивать будет, коли все солдатами станут, старая твоя голова, – ты подумай!..

Старик был доволен и не обижался.

Груша, а Груша! – сказал он с мольбой. – А как бы нам куренка хоть на угольях как-нибудь поскорее испечь – ведь у нас нынче не простые гости будут...

Старуха оправила на себе одежду, потом начала чесать деревянным гребнем свои густые еще волосы.

– Да чего же, – согласилась она, подумав. – И куренка можно пожарить. Я сейчас встану схожу...

– Того белоперого, белоперого, он посытее будет других, – подсказывал старый хозяин.

– Да я уж сама угляжу, какой там сытее, а какой тощей...

\* \* \*

Махонин не мог понять, почему в Малой Верее остались живые куры, когда тут оседлостью жили немцы.

– А как же немцы-то у вас были, Семен Иринархович? – спросил майор. – Неужели они кур у вас не доели?

– Да, а что нам немцы, Александр Степанович! – весело отозвался старый человек. – У нас не только что куры есть, иной колхозник и корову в лесу сберег, скотина в чаще две зимы спасалась. У нас и матки со свинофермы целыми остались, ну с тела отощали малость, да это мы их поправим... Эх, милый человек, что нам немцы, если по уму их мерить! Уж наша власть на что умна, на что поворотлива была, а и то, бывало, наш крестьянин-то возьмет ее, умницу, да обманет – ну для своей

пользы, конечно. А потом, может, и вред ему же будет, а он все-таки для проверки и на убыток пойдет – вот ведь как!.. А немец нам что – разве устоит он против нашего соображения? Он не устоит, он не может: мы по своему сознанию первее его, потому что мы судьбы больше испытали! Вот ведь что, Александр Степанович... Немец всю Россию завоевать хотел, да неуправка у него вышла. А хоть бы и завоевал он нас, всю Россию, так опять же все ему стало бы ни к чему и впрок бы не пошло, и он бы сам вскорости уморился от нас, потому что хоть ты и завоюешь нас, так, обратно, совладать с нами никому нельзя. У нас уж такое устройство во внутренности есть – пока живешь, все будешь неприятелю поперек делать, а потом, глядишь, либо он умрет от тебя, либо ему постыло и жутко станет у нас, и он сам уйдет ночью назад на свое отечество, и еще в самую середину его укроется, чтоб дальше от нас быть... Мы без вас тут, Александр Степанович, всякую мысль думали и сами знали, как нам быть, чтоб немца не было...

– Так-то оно так, Семен Иринархович, – произнес майор Махонин, – а может, и не так... Совладать немец с нашим народом не может, это, Семен Иринархович, правда твоя, а убить его намертво он может постараться...

– Иди, иди, старая, – сказал старик своей жене, уже убиравшей баньку, чтобы были в ней чистота и порядок. – Иди по моему указанию – ощирай нам к обеду цыплака!

– Обрадовался, старый бес, – тихо проговорила старуха, – привык гулять-то да язык чесать при советской власти, а немец-то, гляди, опять воротится! И этот тоже – одну деревню отвоевал и сиднем в ней сел – командир! Нет того, чтоб дальше втупор же на немца идти, пока он напуган!..

Махонин понимал бессмысленность слов старухи, обращенных к нему но все же ему стало стыдно и неловко.

– Мне, хозяйка, в Малой Верее велено быть... Я без приказа не смею идти. Но вы не беспокойтесь – там немцев другие наши части добивают...

– Другие, – прошептала старуха, – а ты бы, где другие, третьим стал, оно бы скорее война-то ушла с нашей России...

– Ступай прочь, старуха! – рассерчал хозяин. – Велено тебе

делом заняться!.. Вот фугаска домашнего действия – шипит, а не взрывается...

Хозяйка ушла. Майор потянулся всем телом и вздохнул в отдыхе. Все же в этой баньке, в этой погубленной войной деревне уже зачиналась домашняя жизнь, мир и счастье. Эти ворчащие, бормочущие, озабоченные русские крестьянки, родив свой народ, держат его в строгости и порядке и тем сохраняют его в целостности, так что их постоянное недовольство и рассерженность есть лишь их действующая любовь, своей заботой оберегающая свой род.

Махонин хотел попрощаться с хозяином: его беспокоило, что долго нет ординарца. Семен Иринархович стал удерживать майора, чтобы скушать курицу, однако майор остерегался засиживаться.

– Хозяйка вон говорит, немцы еще могут явиться, – улыбнулся Махонин. – Мне пора в батальон...

– По дурости они всё могут, – согласился Семен Иринархович.

– На что им ваша Верея? А они ишь как лезли сюда! Им уж ни смысла, ни пользы не было тут быть, а они все дрались...

– Так это ж просто и понятно, Александр Степанович... Когда у человека ни добра, ни разума нету, так у него принцип начинает бушевать... У немцев теперь часто рассудка нету, я и сам такое замечал у них, – а принцип у них еще остался, они и воют сейчас из принципа, да еще из страха. Пока что они, Александр Степанович, от своего начальства смерти боятся, а вот-вот им Красная Армия страшнее начальства будет, от нее-то смерть вернее, тогда они всем стадом в плен пойдут: берите нас на довольство...

Старик понимал кое-что верно. Майор услышал от него разумное умозаключение о боях немцев за Верею. Эти бои для немцев не имели смысла, но чья-то карьера или авторитет зависели от боев за Верею, у кого-то там, по слову старика, «забушевал» принцип, и сотни немецких солдат были переработаны нашим огнем на трупы, хотя каждому ездovому из немецкого обоза могло быть ясно, что Верею удержать было нельзя и не нужно. Майор еще раз понял, что разум не всегда бывает там, где ему положено обязательно быть, – чаще, чем рассудок, на войне, как и в мирной жизни, действуют страсти, личные интересы, заботы о

пустяке, бушуют голые принципы, похожие на правду, как скелет на живого человека, животные чувства маскируются под здравый смысл, страх наказания вызывает упорство, которое можно принять за героизм... В армии, предчувствующей свое поражение и гибель, эти свойства явственно обнажаются, старый крестьянин сразу заметил, что немецкая тактика в боях за Верею не имела рассудка; майор же хотел найти в этой тактике смысл.

\* \* \*

Махонин не обижался на превосходство крестьянского ума; он не отделял себя от людей; он понимал, что человек лишь однажды рождается от своей матери, и тогда он отделяется от нее, а потом его питают и радуют своим духом все люди, живущие с ним, весь его народ и все человечество, и они возбуждают в нем жизнь и как бы непрерывно вновь рожают его. И сейчас Махонин обрадовался, что Семен Иринархович сказал ему истину и он мог поучиться у него.

– Как зимовать теперь будете, Семен Иринархович, – плохо жить в разорении...

– Ничего, Александр Степанович, мы стерпим, а вскоре, бог даст, и отстроимся. Зато какое дело мы с тобой и с прочим народом исполнили – такую гадюку всего мира на тело России приняли и удушили ее. Ты вот откуда считай, а не от спаленной избы! Горе и разор наш минуют, а добро-то от нашего дела навеки останется. Вот тебе Россия наша! А Германия ихняя что? Глядел я тут на немцев: глупарь народ. Мы весь мир, говорят, завоюем. Войте думаю, берите себе обузу.

– Мир спокон века завоевать хотели, Семен Иринархович: дураков много было.

– Правда, правда твоя, Александр Степанович: негодному человеку всегда весь свет поперек стоит. Оно и понятно – старательно он жить не может, людей ведь много и с каждым в соревнование нужно вступить, делом, стало быть, нужно показать, что ты лучше его. А по делу-то негодный и не поспеет, а жить ему хочется больше годного, удовольствие свое ему надо иметь скорее всех! Вот негодный и нашел себе идею:



опростать землю от людей, чтоб их малость осталось, и те тогда напуганные будут и унижение почувствуют, а всю землю с нажитым добром под себя покорить. Тогда живи себе как попало и как хочется: раз весь мир под тобой – тебе стеснения нету, ты сразу лучше всех, и душа покойна, и пузо довольно... Это и я, когда мальчишкой был, все хотел, чтоб у нас старичок ночью на пчельнике помер – тогда бы я наутро в курень к нему залез и весь мед в его кадушке поел... Вот тебе круговорот жизни какой, Александр Степанович! Немцу, я тут заметил, всегда все ясно бывает, он думает – всю мудрость он постиг. А вот другого человека он не знает, и ни одного человека он не может понять, и от того самого он и погибнет весь без остатка...

Махонин слушал старого крестьянина, и у него хорошо делалось на сердце, словно оно было озябшим, а теперь все более согревалось. Он чувствовал, как тепло веры народа и праведность его духа питает его, и судьба его, как русского солдата, благословенна, и сейчас уже, а не в будущем он знает свое счастье. Он видел, из какого большого и правильного расчета живет его народ и почему он безропотно терпит горе войны и надеется на высокую участь в этих погибших селеньях.

– Мы их все равно раздолбаем, Семен Иринархович! – сказал майор. – Где ж твоя старуха? Мне ведь некогда!

– Старухи за войну от рук отбились, Александр Степанович! – объяснил старый человек. – Но ты потерпи малость – сейчас мы куренка кушать будем.

– Я кушать не хочу, – сказал майор. – Я попрощаться хочу с твоей женой.

– А чего с ней прощаться – она помирать не собирается...

Избушка-баня, в которой они находились до сей поры спокойно, подвинулась с места, и они услышали сотрясение земли.

– Это, Александр Степанович, мина большая вздохнула, – сказал Семен Иринархович. – Немец-глупарь и помрет, так все никак не уймется, – ишь как землю смертью наследил!..

– Война, Семен Иринархович, – улыбнулся Махонин. – А смерть на войне нормально живет.

– Нормально! – согласился крестьянин. – Правда твоя.

Пригнувшись, в баньку вошел ординарец майора Махонина. Он

доложил командиру, что батальон зачисляется на отдых во второй эшелон без перемены своего расположения.

– Передний край уж далеко вперед валом ушел, товарищ майор! – объяснил ординарец обстановку. – Тут скоро резервы всеобуча будут находиться...

\* \* \*

Тихо стало окрест Малой Вереи... Было позднее время года; уже наступила зима, и снег улегся в полях мирной пеленой, укрыв землю на долгий сон до весны. Но поверх снега стояли омертвелые колосья некошенного хлеба, добрая рожь, родившаяся в то лето напрасно. Крестьянство в привычном труде взрастило свой хлеб, но убрать рожь у него уже не было ни силы, ни душевной охоты. Иных крестьян немцы увели в свою темную сторону, где заходит солнце, другие истомились и померли поблизости на военных работах, а прочие, кто изредка остался живым в родной деревне, те были либо ветхие, либо малолетние, а кому и посилен был труд, у того не было желания собирать хлеб на прокормление мучителя. И рожь на нивах отдала зерно из колосьев обратно земле, опустошилась и умерла.

Семен Иринархович, и его жена, и прочие малолюдные жители деревни всю осень глядели в поле, где томилась и погибала рожь, и они плакали по ней, словно видя в том свою страшную судьбу: так же как зерно расстаётся с колосом и падает на смерть в холодную землю. Так и их душа расстанется с телом и безответно, без пользы народу умолкнет в вечном забвении, среди неприятеля, охладившего русскую землю.

Теперь Семен Иринархович сказал майору Махонину об этом великом крестьянском горе, и оба они наутро вышли в поле, чтобы проведать мертвую рожь.

Поникшие колосья, как забытые сироты, стояли в снегу, не взятые отсюда крестьянскими руками, и давно уже замертво окоченели. Семен Иринархович осторожно стал ощупывать колосья и размышлять над ними. Умершие, они еще хранили в себе дар человеку, как благодарность за минувшую жизнь: почти в каждом колосе еще таилось по нескольку целых зерен, – в ином два, в

ином четыре зерна, и лишь редкий колос был вовсе пуст и бездушен.

– Ты здесь осторожней ходи, Семен Иринархович, – сказал Махонин крестьянину. – Тут немецкие мины есть.

– Я чувствую, – ответил Семен Иринархович. – Я с оглядкой.

Но сердце его не стерпело печального несжатого поля. В полдень он взял серп и вышел на ниву жать тощий хлеб по снегу. Красноармейцы из батальона Махонина долго следили за старым тружеником, согбенным в поле. Некоторые красноармейцы захотели пойти ему в помощь, но не отыскали в погоревшей деревне ни серпа, ни косы. Тогда они взяли у саперов пилы и топоры и вышли в лес, чтобы заготовить кряжи на постройку новых изб в Малой Верее.

До самых сумерек из ближнего леса слышалось пение пил и стук топоров работающих там красноармейцев, начавших заново отстраивать Россию, и до темноты не возвращался из поля старый крестьянин, по зерну собирающий свой убогий хлеб.

Майор Махонин сам пошел на поле, чтобы позвать ко двору Семена Иринарховича: он уже соскучился по нем. Офицер чувствовал себя сейчас счастливым человеком; в добровольном труде своих бойцов и в скупой жатве старика Махонин видел доброе одухотворение своего народа, которым он одолеет неприятеля и исполнит все свои надежды на земле.

Навечер Махонин задремал в старом блиндаже, приспособленном теперь для временного жительствова, но пришел ординарец и разбудил офицера.

– Товарищ майор, вас просит тот старик, он подорвался на мине и кончается...

Семен Иринархович лежал на полке в своей баньке, укрытый теплой ветошью. Возле него находился врач и молча сидела жена. Лицо у старика было уже дремлющим, утихающим и более серьезным, чем в истекшие дни его существования.

– Отхожу, Александр Степанович, – произнес старый крестьянин.

– А вы живите, исполняйте свою службу, пускай на свете все сбудется, что Должно быть по правде... Как вы будете одни без меня – управитесь, нет ли...

Махонин склонился к умирающему и поцеловал его большую серую

руку, всю свою жизнь терпеливо оживлявшую землю трудом. Майор посмотрел в глаза отходящего человека и увидел в них лишь удовлетворенное спокойствие, словно смерть для него была заслуженным достоянием, – таким же добром, как и жизнь.

Андрей ПЛАТОНОВ. Некаýалар